



Л. С. ПОЛАК

## БЫЛО ТАК

### Край турнепса

В ссылку я попал в село Ковригино Удерецкого района Красноярского края на реке Ангаре в среднем плесе. Село Ковригино было в то время заселено в основном женщинами, так как мужчин-охотников брали в снайперы. А снайпер долго не живет... Кем считали себя жители села? Например, встречается вам здоровенный парень с добрым лицом, рыжими волосами. Иван, фамилия Бжебжильский. Откуда он? В это село после восстания 1863 г. были сосланы поляки. В годы первой мировой войны там появились австрийские военнопленные. Смесь из поляков, австрийских военнопленных и каторжных баб сибирского происхождения дала породу, заселявшую село Ковригино. На вопрос: «Кто ты?» — отвечали: «Мы не русские, мы — ангарцы».

Ребята были хорошие, а женщины, пока не напивались, добрые. Они делились с нами основным продуктом питания — турнепсом (больше там ничего не растет). Турнепс и рыба из Ангары. К турнепсу надо привыкнуть. «Благовоспитанный» желудок его переварить не сможет. А женщины много пили. В единственной лавке кроме черного кислого хлеба и спирта ничего не было (водку туда не возят). На майские дни, когда мы туда прибыли, было вывешено объявление, написанное печатными буквами: «Праздник продлен, покупайте, где хотите».

Бабы бегали по поселку пьяные и искали мужиков. Я поселился у старухи; у нее вместо левой ноги была деревяшка. Она получила срок за убийство мужа (она его зарубила), отбыла его, но осталась жить на Ангаре. Теперь она имела другого мужа, который дрожал перед ней, так как боялся, что она и его зарубит. Мне отвели уголок за ситцевой занавеской. Так вот, бабы гуляли ночью пьяные и пришли за мной — все-таки мужичишка какой-никакой. Она меня отстояла. Бабы ее тоже боялись. Жить там было жутковато.

Мы пытались организовать саботаж принудительных работ. Нас было 31 или 33 человека. На другой день после приезда «опер» послал всех копать торфяник, чтобы проложить куда-то дорогу. Стали собираться. Я, обращаясь ко всем, сказал: «Давайте не пойдем. Почему мы должны выполнять самую последнюю работу? В положении о ссыльных сказано, что ссыльный обязан вести общественно полезную работу. Разве общественно полезно, чтобы люди нашей квалификации копали землю? И даже не землю, а мокрый торфяник?» Все пошли, кроме нас с химиком. «Опер» немедленно организовал над нами суд. Из района приехала здоровая, сибирского вида, вскормленная на мороженых пельменях женщина, которая оказалась народным судьей. Нас привели к ней. Она произнесла речь: «Значит, вы для Советской власти работать не хотите?» «Наоборот, — говорю, — очень хотим, но так, чтобы приносить пользу, а лопатой мы не умеем». (Это я-то, который был уже после лагеря!) Химик говорит: «Давайте я вам буду делать (как это называется?) стенгазету». А я говорю: «Школы в деревне нет, а дети есть; мы их будем учить». «А вы знаете, что вам полагается по 2 года за отказ от работы?» «Если есть такая статья, давайте». Мы знали, что такой статьи нет, а кроме того, она не имеет права этого делать. Да и как она может это выполнить — тюрьмы в селе нет. Судья оказалась умнее, чем «опер», отчитала нас, а напоследок сказала: «За неделю найдите себе работу, иначе вас отвезем в Североенейск, и там на вас управа найдется»\*.

За неделю я нашел работу. Какую? На Ангаре почти напротив села Ковригино был остров. Там летом садились небольшие самолеты, а иногда прилетала «Каравелла» — французский гидросамолет. Начальник так называемого «аэропорта» был абсолютно неграмотный человек. Раз в 2 года он сдавал какие-то экзамены, а сам двухзначное число не мог без ошибки разделить. И вот он нанял меня обучать его арифметике. Я давал ему уроки арифметики, а мой товарищ, химик, обучал его какой-то смеси из физики, техники, я не знаю, из чего

\* Североенейск славился жестокими МГБстами.

еще — за обед. Пить он нам не давал, не потому, что боролся за трезвость, а потому, что ему было жалко водки. Сам он, душа-человек, пил до обеда потихоньку от нас, чтобы мы ему не завидовали и не расстраивались. Но ни я, ни химик не были пьющими. В тот период, когда я его обучал, он получил разрешение нанять заправщика самолетов. И он нанял меня. Еще одна из моих профессий — заправщик самолетов. Мы переплывали на лодке на остров (очень интересно это было во время ледохода, но это отдельный рассказ) и там готовили все для посадки. Когда прилетал самолет, я его заправлял. Однажды прилетел начальник Енисейстроя НКВД, какой-то генерал. Он видел, как я заправлял самолет. У него хватило ума спросить у моего начальника, где он нашел такого заправщика. Очевидно, я не совсем подходил под образ заправщика, который он себе создал. «Подойди!» (Понятия о том, что надо обращаться к собеседнику на «вы», у них нет.) Я подошел. «Ты кто?» — «Я — ссыльный поселенец». — «А-а, а где ты сидел?» (он все понимает — НКВДист-профессионал). Я докладываю: там-то, там-то и там-то. «Ага, ну а тут тебе хорошо?» Я говорю: «Ну как сказать? Начальник — душа. А еда, как у всех, — турнепс». — «Я тебя переведу в экспедицию. Нам надо искать железо». Я говорю: «Пожалуйста». Через два дня пришел приказ отправить меня за 40 километров от моего «родного» села Ковригино Удерейского района Красноярского края на разведку, на поиски гематитовых железных руд. Я ехал по бездорожью один, без охраны. Хорошо!

### Костя Ротов и... Берия

На разведке я встретил человека, которого уже знал и с которым мы вскоре стали друзьями, — известного художника-карикатуриста Константина Павловича Ротова\*.

Костя Ротов первый в экспедиции узнал, что Берия... шпион? Вот как это произошло.

Экспедиция представляла собой небольшой поселок из бревенчатых срубов, в которых жили ссыльные, работавшие на этой разведке. Начальником ее был бывший летчик, пьяница, уволенный из авиации за то, что в пьяном виде пролетел под мостом — такое лихачество одно время было очень распространено. Вы входите в избу, в большую комнату, где находятся бухгалтер и еще двое вольнонаемных людей. Впереди в проеме сидит начальник экспедиции, над ним — портрет Берии (в экспедиции, т.е. в том месте, где работали ссыльные, был кристально чистый отбор политических заключенных — уголовники, как правило, в такую ссылку не попадали). Начальник всегда был пьян, на три слова в его разговоре приходилось два матерных. В поселке была маленькая изба, которая называлась клубом только для вольнонаемных. Там выпускали стенную газету, писали плакаты и т.д. На это дело посадили Константина Ротова, первоклассного художника. Он писал плакаты, радовался, что остался жив, и слушал радио. В клубе находился единственный на весь поселок приемник.

В тот самый день, каждые полчаса передавали знаменитое сообщение о том, что арестован шпион империализма, художник его услышал. А Ротов был человек с юмором — недаром карикатурист. Услышав это известие, он сначала ушами своим не поверил, прослушал еще раз и отправился в «командную» избу. Входит и обращается к начальнику: «Слушай, — говорит, — а почему ты эту (я вынужден пропустить несколько отдельных слов и выражений), почему ты эту... повесил?» Ротов потом говорил, что никогда не предполагал, что человеческое лицо может так мгновенно измениться. У начальника отвисла челюсть (Костя рисовал нам это), перекосилось лицо. Он встал, оперся о стол и молчит — перехватило дыхание. А Костя снова за свое: «Я тебя спрашиваю, зачем ты эту... повесил здесь?» Он: «Ах!» — и пошел. «Взять его!» В углу сидел начальник режима — не человек, а абсолютный идиот и хам. Он (начальник режима) хватается Костю за руки: «Веди его, бери его! Вот он кто!» И — «...». Костя говорит: «Пожалуйста, я вас не боюсь. Смотри, кого ты тут держишь! Это! Шпион... империализма!» Начальник экспедиции отрезвел и побежал вместе с Ротовым в так называемую «избу-клуб». Ну а там услышал сообщение. Ничего не сказал и ушел обратно в свою избу, сел за стол. По рассказам вольнонаемных, его сотрудников, он молчал до конца дня. Когда все вернулись с работы, неожиданно (а известие уже разнеслось, конечно) «рельса» загудела на весь поселок. Все собрались, стоят полукругом, смотрят в землю и молчат, потому что, понятно, слов не было. И вот выходит на крыльцо наш начальничек, даже не шатается. В руках держит портрет Берии, снятый со стены. Не говоря ни слова, бросает его на землю перед собой и топчет ногами. Затем он произнес фразу, которая не может быть использована в литературе, повернулся и ушел. Мы расходились тоже молча. Так Берия вошел в нашу жизнь, точнее — вышел из нее.

\* Он иллюстрировал детские книги, такие, как «Дядя Степа—миллионер», «Приключения капитана Врунгеля», а также романы Ильфа и Петрова.

## Барон

Бароны бывают разные; насколько я помню, в пьесе М.Горького «На дне» тоже есть барон. Барон, о котором я хочу рассказать, — это один из лучших людей, которых я встречал в своей жизни там, за колючей проволокой. Я знал его и до лагеря, но очень мало. Это — ученый.\* Его предки еще в XVIII в., во всяком случае до XIX в., прибыли в Россию как будто бы из Голландии (я это помню плохо, но его сын, вероятно, знает эту историю в деталях). Они совершенно обрусели, осталась только нерусская фамилия Фредерикс. Я думаю, это были бароны без подделки, потому что один из представителей этой разросшейся семьи был даже министром двора Николая II. Судя по воспоминаниям, он был, видимо, чудовищный болван, но очень вежливый. Мы ему простить не можем того, что он лишил Россию Нижинского, уволил его, когда тому было лет 20, из Мариинского театра, так как вдовствующей императрице не понравилось, как он был одет в каком-то балете. Нижинский уехал за границу и в Россию уже никогда больше не возвращался. Своеволие правящих, следовательно, не является исключительной особенностью близких нам времен. Оно бывало, как видите, и ранее, возможно, в эпоху, как я подозреваю, какого-нибудь Тиберия или Нерона.

Другая ветвь рода Фредериксов пошла по, так сказать, административной линии. Отец того Фредерикса, о котором я рассказываю, был, кажется, тобольским генерал-губернатором, а потом нижегородским вице-губернатором. Это бы все и ничего, подобные должности занимал ведь и Салтыков-Щедрин — блестящий противник самодержавия. Но Фредерикс обладал страстью, которая была и у Достоевского, — он был картежник и проиграл большую сумму, порядка сотни тысяч рублей казенных денег, за что его и уволили в отставку без мундира, а это равносильно исключению из компартии в описываемые мною времена. Может быть, и похуже. Остался барон без денег, без общественного положения.

Его жена с двумя сыновьями уехала в Швейцарию. Там была дешевая жизнь. Мальчики получили высшее образование в Женевском университете. Всеволод Константинович Фредерикс, герой моего рассказа, после окончания университета, проявив себя как талантливый ученый, оказался в тогдашнем центре мировой науки — в Германии (это ведь только после национал-социализма и второй мировой войны англоязычные страны стали научными центрами мира). В Геттингене работали такие великие ученые, как Д.Гильберт, Ф.Клейн и др.\*\* Всеволод Константинович работал у крупнейшего по тем временам оптика, автора многих книг и важнейших исследований — Фохта. Блестяще работал.

Грянула первая мировая война.

В Геттингене было несколько десятков русских. Их собрали в помещении школы как «гражданских пленных». Через несколько дней выпустили, объявив, что они могут жить как хотят — это не дело полиции. Лишь раз в месяц их обязали являться на регистрацию.

Жить как-то надо было. Посылки в Германию в военное время шли, но с очень большими перебоями. Всеволод Константинович пошел к крупнейшим ученым Германии, «тайным советникам»: к Феликсу Клейну, великому человеку, — нет, Феликс Клейн русских не берет; еще к кому-то — нет, и, наконец, обратился к величайшему математику XX в. Давиду Гильберту. Гильберт был, как бы поточнее выразиться, пятном на честной бюргерской компании Геттингена. Во-первых, рассказывали, что он каждое лето ездил на курорт с новой секретаршей. Во-вторых, он пил только крепкие напитки. И в-третьих, он взял Фредерикса к себе за свой личный счет. Спокойно. Никаких государственных денег. Он взял его как референта литературы по теоретической физике (потому что он ее не читал), а Куранта, который был немец, но, к сожалению, и еврей, что уже тогда в Германии было не очень хорошо, взял как референта литературы по математике\*\*\*.

Каждую неделю по 2—3 часа Всеволод Константинович реферировал для Гильберта новую литературу по теоретической физике и сопряженным дисциплинам. Последний в это время открыто дремал. Но как только Всеволод Константинович допускал неточность, неясность в изложении, Гильберт немедленно просыпался, поправлял его и снова впадал в дрему.

Ностальгия... Фредерикс вернулся в Россию в чем-то вроде запечатанного вагона. Стал работать в Ленинграде, женился, играл в карты со своим шурином Д. Д. Шостаковичем, с И. Соллертинским, известным музыковедом, и еще с кем-то, чуть не стал членом-корреспондентом Академии наук СССР (в те времена, между прочим, членкоров насчитывались

\* Фредерикс Всеволод Константинович — русский физик, внес фундаментальный вклад в физику жидких кристаллов, сыграл большую роль в развитии и распространении теории относительности в СССР, много занимался также историей физики, автор ряда важнейших работ в этой области.

\*\* Я говорю только о математиках и специалистах в области теоретической физики.

\*\*\* Специалисты по математике и теоретической физике знают замечательную книгу «Курант—Гильберт»



У него была еще одна прекрасная черта — в нем было что-то от няни, которая искренне любит своих питомцев несмотря на то, что те орут и пачкают белье. Он мог сидеть возле больных в бараке, ухаживать за ними (по возрасту он уже работал в зоне). Это совсем не просто, когда нет врача, лекарств, опыта, чистого белья, нет даже чистой тряпки, чтобы сделать перевязку. Мы острили: «Из Вас бы вышла хорошая няня. Чего Вы подались в науку? Надо было в няни к какому-нибудь Великому князю и вместе с ним за границу. А Вы все перепутали, пошли в науку, приехали из-за границы».

Он очень любил своего брата, которого я знаю только по его рассказам. Всеволод Константинович старался честно работать даже тогда, когда собирал сучки на лесоповале. Эта идеальная, с моей точки зрения, работа для него была очень тяжела — возраст. Работа состояла в том, чтобы собрать сучки и обрубить ветки у хлыстов поваленных деревьев, потом все это сложить в кучу и сжечь. Восторг! Но даже от этой работы пришлось его, так сказать, спасти.

Началась война, и в лагере все поломалось тоже. Блатные считали, что лагерный режим стал более жестким из-за политзаключенных, которых они, по подначке оперчекистского отдела, называли фашистами, из-за чего нередко приходилось драться. А вот Всеволод Константинович не мог драться. Во-первых, возраст, во-вторых, характер. Он пытался убедить наседающего гада. А это все равно, что убедить кобру не кусаться. Моим покойным друзьям доводилось из-за него драться. Вы спросите: что значит «из-за него»? Дело в том, что блатной, чтобы унижить человека, показать свое превосходство, подчеркнуть, что тот — дрянь, слизняк, мог двумя пальцами зажать ему нос и водить направо, налево. Пытались поступать так и с ним. Мои товарищи дрались с теми, кто это делал. А драка в лагере — это не интеллигентский бокс. Бьют по наиболее болезненным местам — под дых, в пах, в глаза, а если есть бритвенное лезвие, вставленное в дощечку (это называлось «писка»), то стараются попасть по сонной артерии. Например, я, по моим подсчетам, дрался 14 раз: 8 раз я бывал побежден и 6 раз мне удавалось одолеть какого-нибудь блатного. Наиболее отчетливо я помню одного на «разводе» (что такое «развод», теперь все знают). Его звали Бомба, он был толстый. На «разводе» он пристал ко мне, хотя наша бригада старалась держаться в стороне, назвал фашистом. Это было ранним морозным утром, мы были голодные, еще со вчерашнего дня уставшие, ни о чем не хотелось думать. Пропади оно все пропадом. Он видит, что я не реагирую на его слова, раз — и за нос. Ну, я ему по физиономии. Началась драка. Тут же лагерная охрана. Нас — в карцер, в «кандей» (другое название карцера даже при перешедшей свободе речений невозможно опубликовать). И в карцере, в грязи, вони, клопах и голоде, мы с ним подружились.

Благодаря людям, отвечавшим заботой на душевное тепло высококультурного человека, удавалось спасти Всеволода Константиновича от многого страшного.

Нам давали два-три дня отдыха в месяц — иначе ведь «даровая» рабочая (рабская) сила исчерпается. Все эти дни (вернее, часть их) были отданы нами науке — физике. Мы не читали научную литературу — ее просто не было в лагере, почти не читали лекций для других заключенных — никто не хотел слушать, так как не верили, что будут завтра, послезавтра жить — мы занимались решением задач теоретической физики. Задач разнообразных, так как до ареста наши научные интересы были весьма далеки друг от друга. С огрызком карандаша (как правило, украденного) на серой оборточной бумаге мы без конца математически формулировали физические задачи, решали и рассчитывали.

В глубине души мы не верили, что до нашей «светлой кончины» нам удастся что-нибудь опубликовать (а без публикации для научного сообщества все эти знания превращались бы в нечто вроде дамского вышивания). И тем не менее это был подлинный искренний творческий научный интерес, настоящий, присущий ученому поиск истины. Сам процесс — познания — казался нам священнодействием, самовыражением, но было и кое-что практическое, сиюминутно полезное. Например, рассчитали плотность и толщину защитного покрытия трубопроводов из глины, соломы и еще чего-то (уже не помню), так как материала для обычного покрытия не было — военное время. Это было использовано, правда в небольшом объеме.

А вот интересный пример. Фашистская армия угрожала отрезать Кавказ — один из важнейших источников нефти, надо было форсировать бурение скважин на других месторождениях нефти, и в Москве активно разрабатывали присадки к буровым растворам — понизители твердости горных пород. Что-то было поручено (что именно, мы, конечно, не знали) Ухтижимлагу. И вызывает Всеволода Константиновича и меня начальник этого лагеря — не то генерал-майор, не то генерал-лейтенант (это в военное-то время) и командует (он за столом, а мы стоим скромненько у двери его кабинета): «В три месяца разработать присадки из доступного материала. Ясно?»

Конечно, ясно, да как это сделать? Всеволод Константинович говорит: «Для этого нужно оборудование, приборы и т.д., а без этого ничего не сделать, да еще за такое время». «Приказ не обсуждается, — рявкает генерал, — а не выполните, ногами вперед... Идите!» А он имел



стоило! Рухнет, рухнет, не сомневаюсь, но что и кого погребут при этом развалины, руины? Много веков прошло, а следы монгольского ига не изгладились в наших душах до конца. Теперешний мрак сменит туман, смерть — прозябание. Какие страшные, оскаленные, зверские силы всплывут из темных подвалов? Что станет с теми, кто творит и ищет новое, светлое? Где и как через сердца людей пройдут дороги в незримое еще будущее?»

Он хрипел, голос его стихал до слабого шепота: «И все же все гады сдохнут, или им помогут сдохнуть. Умирая, уходя, они будут отравлять атмосферу, но это пройдет и рассеется, как дым отгоревшего костра. Помни об одном. Все, что кажется плохим, может породить хорошее. Все, что кажется хорошим, часто оказывается плохим. Все, что случается с человеком, похоже на него самого. И нет выхода. И нет спасения. И нет светлого будущего. Есть только страшная судьба. Пройти жизнь, чтобы в конце ее понять, что, наверное, и не стоило проходить жизнь. Я умру, а ты останешься. Ты будешь помнить меня и кому-то другому расскажешь обо мне. Но сейчас всего этого нет. Есть только смерть».

Он умер в один из дней, когда я был на работе. Я пришел поздно — мы работали далеко от лагеря. Прошел в барак, меня встретил врач и сказал: «Он умер». Я спросил: «Он сильно мучился?» — «Нет, часа два-три он хрипел уже без сознания — и умер. И умер.» — «Он ничего не говорил?» — «Нет ничего.» — «А глаза?» «Он попросился. С тобой, вероятно, ну и со мной».

Нельзя изменить путь человека от рождения до смерти. Можно только пытаться сделать его если не усыпанным розами, то более радостным, чтобы те, перед которыми ты преклоняешься, которых любишь, не уходили раньше тебя, а тех, которых ты презираешь и ненавидишь за их злобную мерзость и мерзостную злобу, жизнь смела бы. Смела бы...

## Единственный разговор

Перерыв между двумя арестами краткий и «всезапретный». По паспорту нельзя жить более чем в 200 городах страны, тем более в Москве: 2 года лагерей за нарушение паспортного режима. Подхожу к Ленинградскому вокзалу, чья-то рука легла сзади на плечо, и сердце — неизвестно где. К счастью, голос: «Извините, я обознался». Скрываюсь в общежитии, в городе Александрове, на разных квартирах, еще где-то. Замкнутый круг: чтобы получить работу — нужна прописка (это при моем-то паспорте!), чтобы прописаться — надо работать. Добиваюсь (без большого труда) встречи с С. И. Вавиловым, которого я раньше, до 1937 г., знавал и который за протекшие 10 лет стал президентом Академии наук СССР.

Небольшая очередь. Из приемной вхожу в кабинет — принимает депутат Верховного Совета СССР Сергей Иванович Вавилов. Ему почему-то неудобно принять меня в кабинете президента Академии. Немного смешно — депутат и человек, имеющий «5 лет поражения в правах», которые только что (после освобождения из 10-летнего заключения) начались.

Вхожу. Сергей Иванович поднимается из-за небольшого стола в глубине комнаты направо от двери и делает шаг в сторону и навстречу. В глазах его как будто удивление и жалость. Я не видел его 10 лет, он сохранился в моей памяти куда более молодым.

Голос хриплый: «Досталось?» — и протянутая рука. Как-то ухитряюсь пожать ее и почти одновременно развести руками — стоит ли об этом говорить?

Садимся. «Вы изменились очень...» Фраза обрывается. Я и сам знаю и все мои уцелевшие друзья из прошлого говорят, что у меня «стеклянные глаза». Наверное, правда, хотя и страшновато.

— В каком вы положении? — Почти рапортуя: — Имею 5 лет поражения в правах и не имею права проживать и быть прописанным не то в 247, не то в 257 городах страны — столько и перечислить трудно... А без прописки на работу не возьмут... А если поймают в Москве, дадут еще 2 года.

Тягостное молчание.

— Кого-нибудь там видели?

— Бывало. — Перечисляю несколько имен с краткими дополнениями. Об одном из них удивленно: — А он за что?

— В лагере не очень принято спрашивать об этом. Кажется, шпионаж и террор.

— А вы?

— Я — террорист.

И вдруг без всякой связи: — Помните, как по букинистам в воскресные дни ходили?

— Помню, но это другой человек ходил — не я, да и вы другой.

Опять молчание.

— А вы все поняли?

— Не все, но многое... Научили...

— Значит, вы считаете, что мы по разные стороны?

— Наверное, так. — Хочу сказать что-нибудь хорошее, но вглядываясь в свое прошлое, вижу: Соловки, я — место № 3, обход с комбзвода во главе и одни и те же слова: «Мы вам житья на советской земле не дадим».

Чужеем оба.

Опять молчание.

Физика за прошедшие годы — поговорили. Так спокойнее.

— Ну а теперь о деле. Вы стали геофизиком-нефтянником. Матвей Алкумович Капеллошников устроит на временную работу. Больше ничего нельзя.

Обсуждаем технические подробности «трудоустройства».

Всё.

— Не буду вас больше задерживать, Сергей Иванович. Прощайте.

— Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Конечно?

— Дай бог. — И вдруг, чувствуя, что краснею от пафоса, которого всегда боялся: — Мы ведь — смертники в отпуску.

Дверь тихо закрывается. Может быть навечно!?

### Машина времени

В физике существует понятие «стрелы времени» — движение из прошлого через настоящее в будущее. Это пока, конечно, движение фантастическое. Но может создаться такая ситуация, когда движение, по крайней мере в прошлое, оказывается реальным, хотя по-своему и фантастическим, я бы сказал, в духе фантастического реализма Достоевского. Вот со мной и случилось так, что мне довелось не по собственному желанию, как вы сейчас узнаете, совершить путешествие в прошлое, на 20 лет назад.

Когда начался процесс реабилитации в хрущевское, светлая ему за это память, время, он сначала был поручен аппарату Главной военной прокуратуры. Очередь на реабилитацию быстро росла и в конце концов люди стояли целыми ночами. Москвичей не удивишь очередями, но эта очередь своими размерами удивила бы многих. И вот приближалась очередь моей сестры, а я находился еще в ссылке, в городе Гурьеве. И как раз в это время получил извещение, что ссылка с меня снята и я могу убраться на все четыре стороны, но жить ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в других крупных городах мне не разрешается, так как приговор 37-го года, объявивший меня «врагом народа», не отменен, и я остаюсь под его тяжелым бременем. Конечно, я помчался в Москву. При этом, когда мои коллеги, мои друзья, мои товарищи в Гурьеве провожали, ощущение свободы было настолько сильно, что я плясал в тамбуре вагона, несмотря на то, что был совершенно трезвый. Они при этом пели какую-то бессмысленную песню, выражавшую их радость по поводу того, что я от них, наконец, уезжаю.

Приехав в Москву, я довольно быстро, благодаря тому, что много ночей выстояла вместо меня сестра, попал к следователю, у которого на пересмотре оказалось мое дело. (Следователь потом мне сказал, что у него было около тысячи дел, при этом он рассматривал только дела осужденных Военной коллегией Верховного суда). Я вошел к нему в кабинет. Трудно объяснить психологию человека, который не только привык быть в самом низу социальной пирамиды, но и привык жить, ожидая, что вдруг завтра — другой поворот и... «мы вам житья на советской земле не дадим». В кабинете сидел молодой человек лет тридцати, в военной форме (я не разобрал его чин, но думаю, что не очень высокий), с усталым лицом и дрожащими руками. Он посмотрел на меня и монотонным голосом, в который уже раз, видимо, сказал: «Я понимаю, что вы хотите возможно скорее снять с себя давящий груз, вероятно, несправедливого приговора... Для того, чтобы это ускорить, нам нужны (это была та волна реабилитации, когда дело еще не было достаточно механизировано) показания о вас людей, которые знали вас до 37 года. Ну, естественно, хорошие показания». Он посмотрел на меня и добавил: «Других и не может быть. Так вот, мой вам совет: если вы в этом заинтересованы, а вы, конечно, заинтересованы, поезжайте в Ленинград, где вас арестовали в 37-м году и осудили, и возьмите у людей, которые вас тогда знали, краткие показания о том, что вы не заслуживаете продолжения ваших...» — он не сказал «мучений», а выразился как-то осторожно — «осложнений».

Было это в 1955 году, и я поехал в Ленинград, в 1936 год, поскольку арестован первый раз был 9 февраля 1937 года. Значит, на 20 лет назад. Ленинград произвел на меня унылое впечатление, усугублявшееся еще и тем, что в день приезда шел дождь. И я стал бегать по адресам, которые у меня были, чтобы получить какие-то отзывы о том, что я, хотя и террорист, но никого не убивал и даже ни на кого не покушался и что, хотя я и контрреволюционер, согласно приговору суда, но контрреволюцией вроде бы не занимался. Я пошел по списку, который у меня был...

Не буду рассказывать о всех встречах, о всех людях... Вырванные памятью из небытия

некоторые такие встречи мне хочется сделать общим достоянием, которые показывают одно очень важное обстоятельство, которое более или менее стало ясным уже в поезде, когда я ехал в Ленинград. Человек стареет... Тем людям, к которым я ехал, было тогда 25, максимум 30 лет, сейчас им 45-50. Так вот люди стареют, этот процесс старения идет двумя путями. Один — биологический, заданный самой структурой смертного человеческого организма, а другой — социальный, заданный социальной структурой. Вы не можете не стать седым с годами, но вы можете остаться хорошим человеком, можете стать плохим, можете стать чиновником, а можете стать бунтующим поэтом, можете стать человеком, любящим воспитывать, а можете стать человеком, который больше всего не любит, чтобы его воспитывали, и мало ли других социальных оттенков! Включая: вы можете стать борцом. А можете стать слизняком, которым в 20 лет не были! В 20-25 лет вы были еще заряжены потенциалом, который вложила в вас Природа и который разрядился на социальные условия. Несколько образчиков взаимовлияющих процессов биологического и социального старения индивидуума мне хотелось бы представить здесь, потому что в этом есть некие, как мне кажется, скрытые закономерности.

Отправляюсь к одному своему знакомому, с которым вместе учился в докторантуре Академии наук СССР в Ленинграде и который за это время стал профессором и заведующим кафедрой в Университете и директором музея... Вхожу в комнату. Сидят три или четыре человека. Я спрашиваю: «Где профессор Х?» -- «Вот там». Дальше дверь ведет в другую комнату. Должен вам сказать, что в этот приезд я выглядел иначе, чем в первое свое мимолетное возвращение 8 лет назад. Тогда я был и одет не совсем как полагаются, кроме того, как отмечали мои друзья, у меня были «стеклянные глаза». Ну, а после ссылки я уже немножко раскрепостился от тюремно-лагерного режима. Так что не думаю, будто производил впечатление вырвавшегося из клетки в зоологическом саду. Вхожу. За столом сидит человек, который кажется мне совершенно незнакомым. Последний раз я его видел, когда ему было лет 25 или 27. Я обращаюсь к нему. Он встает, смотрит на меня, и я вижу в его глазах ужас: он узнает меня постепенно, не сразу. У него мешки под глазами, обрюзгшие щеки и бегающий взгляд. Немножко седоватый, с залысинами, грузный и уже обзавелся круглым брюшком. Он смотрит на меня, и я на немой вопрос отвечаю: «Да, это я». В его глазах я вижу смесь удивления, опаски, боязни — а вдруг я беглец — реабилитация только началась, это не было привычным. Я говорю: «Да, это я, ты не бойся, я не бежал, и я не привидение. Тем более, что — а он был член КПСС — твоя идеология должна исключать возможность привидений». Я думаю, что эти попытки сострить были вызваны тем, что я сразу понял: мы не найдем с ним никаких точек соприкосновения. Я говорю: «Здравствуй, я вижу ты процветаешь, я очень рад. А к тебе приехал из Москвы с просьбой. Для того, чтобы с меня сняли обвинение, в соответствии с докладом Никиты Сергеевича Хрущева, мне нужны показания людей, которые меня достаточно близко знали до 37-го года и могут подписать, что я жил с ними как любой другой советский гражданин». Он садится, а мне сесть не предлагает — я сам сажусь. Думаю, что это от его растерянности. Я сажусь и говорю: «Мне надо, чтобы ты написал, что тебе известно, что тогда я молодой начинающий ученый, что я хорош был в коллективе докторантско-аспирантском и ни в чем предсудительном ты меня никогда не замечал. Вот если ты мне это напишешь, мне это, как сказал следователь, ведущий пересмотр дела, поможет». Он молчит. И я замолчал. Потом говорю: «Ну, как же? Ты напишешь? Я ведь приехал в Ленинград, у меня много аналогичных посещений, мне время дорого, поболтать мы с тобой успеем, если захотим, а вот ты мне дай сейчас такую бумажку, собственноручно написанную, даже заверять не надо». Он глубоко вздыхает, смотрит на меня, в глазах что-то проясняется: ну, кажется, пошло. Вдруг он открывает рот и начинает говорить: «Знаешь, что я тебе скажу? Ты ведь многого не понимаешь. Ты был ТАМ, откуда, как правило, не возвращаются. И тебе уже нечего было бояться. Самое страшное, что может быть с человеком, кроме расстрела, с тобой свершилось. А я? Все эти 20 лет дрожал. Каждое утро, каждый вечер. Особенно в те годы, когда люди один за другим исчезали. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Мне надо помочь! Чтобы убрать из моей души этот страх!» Я говорю: «Я тебе ничем помочь не могу. Подожди, пока я хотя бы реабилитируюсь. Тогда, может быть, я тебе чем-нибудь помогу, рассказав, что хотя ты 20 лет боялся, но все-таки поменять твои 20 лет на мои я бы тебе не посоветовал» «Ну, — говорю, ты подпишешь?» — «Нет. Не могу». — «Почему? Это же правда. Ты что, боишься правды? Правда состоит в том, что я был балбес, немножко самонадеянный, работавший и пользовавшийся симпатиями определенного круга людей и благожелательным отношением таких ученых, как А. Н. Крылов. С. И. Вавилов...» — «Нет, не могу! А вдруг повернется опять? Ты думаешь, что уже наступил рай на земле? А вдруг завтра придет... или этот же, или другой и повернут обратно?» Я встал и говорю: «Ну, до свидания. Я бы дал тебе по морде, но не хочется мне ни твою морду портить, ни мои руки пачкать о тебя. Проваливай ко всем чертям. Когда-нибудь мы, может быть, еще встретимся, тогда я тебе руки не подам.

Но тебя, вероятно, это будет мало трогать». Я повернулся и ушел. Он что-то мне крикнул, но что, я уже не разобрал, вышел, прошел мимо тех, кто сидел в первой комнате. Они, видимо, часть нашего разговора слышали, потому что я неплотно закрыл дверь, когда зашел в его кабинет. Они смотрели на меня так, как посмотрели бы на инопланетянина, но тогда о них ничего не знали.

Вот это первый человек, который биологически не очень постарел, а социально из человека, который готов был что-то создавать, все-таки творческий ученый, превратился в гнусного слизняка, который даже вот в таких условиях не протянул руку помощи человеку, просящему буквально как нищий на паперти о подаянии.

После этого, уже менее уверенный, что мне удастся собрать бумажки, которые ждал от меня следователь, я отправился к следующему товарищу тех лет, который в это время был заместителем директора филиала одного академического московского института в Ленинграде. Я пришел к нему. Он меня узнал. Я-то его не узнал. Ну, у меня, правда, плохая память на лица. Я говорю: «Здравствуй». Он: «Здравствуй. Садись». Понимаете, я не склонен к внешним проявлениям всяких эмоций, но думаю, что после 20 лет разлуки он мог бы мне руку пожать двумя руками, потрясти ее. Я уж не говорю — обнять меня со словами: «Ты вернулся с того света». Нст, этого не случилось. «Садись». Я сел. «Ну, как у тебя, все в порядке?». Я говорю: «Вот делается, все в порядке, и быстро делается, если ты мне поможешь». — «Чем я могу тебе помочь?» (Никаких вопросов: как я жил, что со мной было). Я говорю: «Мне нужна только бумажка от тебя, что ты меня знал до 37-го года и что я на тебя не покушался как террорист. Это, говорю, шутка, но если серьезно, то мне нужно то-то и то-то». — «Подожди». — «Хорошо, подожду». Поднимает трубку при мне, не стесняясь и говорит: «Валентин, это ты? Ну, как, кампания продолжается?». Очевидно, на другом конце провода знали о чем идет речь, потому что не было слов «кампания по реабилитации». По всей вероятности, там ответили, что да, продолжается. Он еще что-то спросил, потом повесил трубку и говорит: «Я тебе сейчас напишу». Думаю, что звонил он каккому-то своему товарищу, работающему в райкоме или горкоме КПСС. Он мне написал, но на вкус это — трава. Вот еще один. По возрасту он-то выглядел бодро, а социально стал действительно винтиком и без указания райкома или людей «знающих» он и пальцем пошевелить не мог. Даже если на его глазах будут тонуть, он справится в райкоме, надо ли спасать и какими средствами. Вот это второй социально постаревший товарищ, которого я видел.

А вот третий оказался уже в Москве, в роли замминистра. Я попал к нему на прием. Секретарша — я не помню, назывались ли они тогда роскошным именем референтша — доложила ему что такой-то пришел. По телефону. Он переспросил: «Кто?» Она повторила фамилию, имя, отчество. Очевидно, он что-то сказал, потому что она взглянула на меня с некоторым интересом, которого вначале не было, и сказала: «Вас просили немного подождать, он сейчас занят, как только освободится, сразу вас примет». Минут через 20-30 (я не чувствовал времени, астрономического) он меня принял.

Я увидел развалину. Вот этот человек биологически постарел, хотя вряд ли был на 2-3 года старше, чем я. Он встал, с заученной любезностью подошел, подал мне руку и на «вы» (остальные обращались ко мне на «ты», так, как мы обращались друг к другу до 37-го года) сказал: «Садитесь, пожалуйста». Я сел. «Ну освободились?». Я говорю: «Вот, да, но, вот, не совсем». Затем объясняю ситуацию, из-за которой я к нему пришел. Молчание. «Я думаю, что смогу вам помочь». — «Буду очень признателен. Понимаете, я кручусь, бегаю, сами понимаете, поскольку...» — «Да, да, я все понимаю. Я вам напишу. Ведь вы знаете, мне самому досталось». Я говорю: «А как? Вы тоже...» — «Нет. Вы знаете, я работал в ЦК КПСС. И вот прихожу однажды на работу, а мне говорят: «Ваш пропуск ликвидирован». Почему? Как? За что? — без объяснений. Шесть месяцев ходил я безработный и каждый день боялся, что приборуг. Все приготовил. Не вышло. Через шесть месяцев сделали меня замминистра... Так что брат, я хлебнул! Желаю, чтобы все было в порядке! Бумагу я сейчас же напишу, завтра ее пошлют твоему следователю». — «Спасибо, — я растаял и говорю: — Благодарю!...».

Позже спросил у следователя, было ли такое письмо. Нет. Вот вам еще один тип, искаженный социальной историей. До 37-го года это был совсем не плохой парень. И биологически старея, он вовсе не был обязан стать такой сволочью. Как он все это передо мной разыграл...

Я обращался к одиннадцати бывшим моим товарищам. Четверо из них отказались что-либо написать. Потом они процветали.

## Заключение... без конца

Еще осталось рассказать о многом: следствие (пытки), суд (издевательства), этап (одно из самых страшных и мерзких явлений в жизни ГУЛага), лагерь и война, женщины в лагере, власовцы, тайный лагерный суд (самозащита), штрафлагпункт, карцер и, наконец, может быть, самое трудное (хотя и радостное!) — возвращение. Но это лучше потом, когда-нибудь потом. Кто-то сказал: «Я не знал, что для тех, кто сражался, война никогда не кончается».

Заключение... без конца.

*Хочу выразить глубочайшую признательность Леониду Ашкинази, который побудил меня к написанию этих «очерков».*

М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ

## В АМСТЕРДАМЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТОМУ НАЗАД (ВСТРЕЧА С КАРЛОМ ПОППЕРОМ)

Летом 1967 г. меня включили в состав советской делегации на 3-й Международный конгресс по логике, методологии и философии науки. Конгресс должен был состояться в Амстердаме и я, до того никогда не бывавший за границей, с нетерпением ожидал поездки, которая, однако, вряд ли бы состоялась без решительного вмешательства Б. М. Кедрова. Дело в том, что в моей биографии имелось «темное пятно». В 1938 г. я был осужден военным трибуналом за участие в сочиненной НКВД контрреволюционной организации, якобы возглавляемой студентом Л. Н. Гумилевым. Ленинградский обком (я работал тогда в Ленинградском отделе ИИЕТ) задержал мое так называемое «выездное дело». Кедров связался с «инстанциями» и, выразив как директор Института и руководитель делегации категорический протест, добился разрешения.

В состав делегации входил также известный логик А. А. Зиновьев. Когда мы пришли за билетами, то на имя Зиновьева такового не оказалось, но его заверили, что он полетит следующим рейсом, которого, конечно, не было. Из разговора с Зиновьевым я узнал, что подобное происходит с его командировкой не в первый раз. Он по неведомым для него обстоятельствам стал, как тогда говорили, «невыездным». Не сомневаюсь, что это была одна из причин, побудивших его эмигрировать. Пишу об этом, чтобы напомнить о той пагубной роли, которую играли партийно-кагебешные силы в «регуляции» международных контактов ученых. Подобная «регуляция» являлась непременным компонентом того феномена, который я предложил называть «репрессированной наукой».

Конгресс в Амстердаме открылся (после всяческих приветствий) докладом Карла Поппера об эпистемологии без познающего субъекта. В докладе Поппер впервые изложил на столь представительном научном форуме свою, ныне широко известную, концепцию «трех миров»: объективного знания, мира материальных объектов и особой сферы ментальных (психических) процессов. У некоторых участников конгресса (и, прежде всего, если мне память не изменяет, председательствующего Бар-Хиллела) сразу же возникли возражения по поводу попперовской схемы в связи с трактовкой этих миров в качестве независимых друг от друга. Поппера упрекали в том, что, хотя он и признает, что научное знание подвержено развитию, версия о его бессубъективности (в смысле независимости от генерирующей его личности) возвращает нас к платоновскому мифу о неземных идеях. После заседания я довольно бесцеремонно затеял разговор по этим вопросам с Поппером. Он внимательно выслушал возражения. Для меня особенно важно было обсудить вопрос о месте эпистемологии в исследованиях науки. Дело в том, что я тогда написал для сборника нашего Института (предшественника «Вопросов истории естествознания и техники») статью под названием «Наука как предмет психологического исследования», против которой выступили некоторые уважаемые члены редколлегии, утверждая, что существует психология ученых, но нет психологии науки. Здесь, конечно, была семантическая проблема — требовалось договориться, что же мы понимаем под термином «наука»: знание, «окаменевшее» в текстах, или процесс изготовления этого знания на фабрике идей, называемой научным сообществом.